

*Портреты
русских поэтов*

Анна Андреевна АХМАТОВА

Я не знаю ни ее лица, ни даже имени. Только скорбная, похожая на надломленное деревцо, женщина Альтмана перед моими глазами. Она очень устала, любит замшелые скамейки Царскосельского парка, у нее розовый зябкий какаду. Я не знаю ее, но я ее знаю лучше поэтов, с которыми прожил годы вместе. Я знаю ее привычки и капризы, ее комнату и друзей. У других я был в кабинете и в салоне, в опочивальне и в часовне. Она подпустила к сердцу. Я тоже грешен — у костра ее мученической любви грел я тихонько застывшие руки, трижды отрекшись от Бога. Со страхом глядел я на взлеты подбитой души, — птица с дробинкой, пролетит пять шагов и вновь упадет. Ах, как застыдился бы Леконт де Лиль, увидав обнаженную гусиную кожу души на ветру перед равнодушными прохожими! Впрочем, прохожие не совсем равнодушны, они покупают «Четки», и Ахматова горько жалуется на свою «бесславную славу».

Не письмо, не дневник, а любящее сердце в паноптикуме рядом с ассирийскими приспособлениями Брюсова и сологубовскими розгами из Нюрнберга. Что же делать, по законам бытия должны мы питаться не проточной водой, но теплой кровью, и не в первый раз клюет свою грудь жертвенный пеликан.

Бессильно повисли руки Ахматовой, и говорит она в себя, как человек, который уж не может требовать

и не умеет просить. Какую битву проиграл полководец? Отчего после легкого «Вечера» и жарких «Четок» прилетела к ней суровая и снежная «Белая стая»? Для нее любовь была не праздником, не вином веселящим, но насущным хлебом.

«Есть в близости людей заветная черта», и напрасно пыталась перейти ее Ахматова. Любовь ее стала дерзанием, мученическим оброком. Молодые барышни, милые провинциальные поэтессы, усердно подражавшие Ахматовой, не поняли, что значат эти складки у горько сжатого рта. Они пытались примерить черную шаль, спадающую с чуть сторбленных плеч, не зная, что примеряют крест.

Для них роковая черта осталась далекой, приятной линией горизонта, декоративными звездами, о которых мечтают только астрономы и авиаторы. А Ахматова честно и свято повторила жест Икара и младенца, пытающегося поймать птичку, Прометея и сумасшедшего, пробивающего головой стену своей камеры.

Часто ночью равнодушно гляжу я на полку с длинными рядами милых и волновавших меня прежде книг. За окном ночь, необычайная ночь, — жизни нет и нет конца. О чем читать? Разве не исполнилось сказанное, не иссякли пророчества и не упразднилось знание? Да, но «любовь не престанет вовек», и я повторяю грустные слова гостьи земли, нареченной «Анна». Ее стихи можно читать после всех, уж не читая, повторять в бреду.

Текут века, и что мне оникс, или порфир древнего храма, что мне вся мудрость Экклезиаста. Но в глазах возлюбленной я вижу отблеск неотгоревшего огня бедной Суламиты. Выше Капитолия и Цицерона царят над миром любовники Помпеи, они одни не бежали от смерти, только они ее победили. Может быть, в тридцатом веке ученые будут спорить о значении сонета

Вячеслава Иванова, но старый чудак, найдя в лавке полуистлевший томик, у огня, таящегося под пеплом, таким же жестом, как я, будет греть замерзшие руки, — отлюбившее и жаждущее еще любить, вечно любить, сердце.

1919

Анна Ахматова

* * *

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем. И она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.

И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои.

Декабрь 1913 г.

* * *

Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдаты.
Вдовий плач по деревне звенит.

Не напрасно молебны служились,
О дожде тосковала земля:
Красной влагой тепло окропились
Затоптанные поля.

Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих...
Делят тело Твое пресвятое,
Мечут жребий о ризах Твоих.

Июль 1914

* * *

Есть в близости людей заветная черта:
Ее не перейти влюбленности и страсти,
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.
И слово тут бессильно, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие поражены тоскою:
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

* * *

Тяжела ты, любовная память,
Мне в дыму твоём тлеть и гореть,
А другим — это только пламя,
Чтоб остывшую душу греть.

Чтобы греть пресыщенное тело,
Им надобны слезы мои.
Для того ль я, Господи, пела,
Для того ль причастилась любви?

Дай мне выпить такой отравы,
Чтобы сделаться мне немой,
И мою бесславную славу
Осиянным забвением смой.

* * *

Чем хуже этот век предшествовавших? Разве
Тем, что в чаду печалей и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог?

Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах горят..
А здесь уж, белая, дома крестами метит,
И кличет воронов, и вороны летят.

Юргис Казимирович БАЛТРУШАЙТИС

Поэт стихи не пишет, но говорит, пусть беззвучно, но все же шевелятся его губы. Руки — потом, руки — это почти наборщик. Есть уста поэтов истступленные или лепечущие, мудрые или суеречивые. На пустынном лице Балтрушайтиса особенно значителен рот, горько сжатый рот, как будто невидимый перст, тяжелый и роковой, лежит на нем. Балтрушайтис так часто повторяет слово «немотствовать». Какая странная судьба — тот, кто должен говорить, влюблен в немоту! В пристойном салоне собрались поэты. Бальмонт рассказывает о пляске каких-то яванок или папуасок. Нестовый Андрей Белый словами и руками прославляет дорнахское капище. Какие-то прилежные ученики спорят о пэонах Дельвига. Футуристы резво ругаются. В черном, наглухо застегнутом сюртуке, Балтрушайтис молчит. Не просто молчит, но торжественно, непоколебимо, как будто противопоставляя убожеству и суете человеческих слов «благое молчание». Так же молчал он на сборищах юных символистов, бушевавших под сенью «Весов» или на заседаниях «Тео», слушающая наивные поучения теоретиков пролеткульта. Когда в России профессия сделалась необходимостью, Балтрушайтис стал не оратором, а дипломатом. Там, в кабинетах, творящих войну или мир, где белые мес-

та значат больше тривиальных строк, где паузы убедительнее заученных заверений, он смог проявить свое высокое искусство — молчать.

Но разве поэт должен спорить, рассказывать, обличать? Поэт «вещает». Немой Балтрушайтис, когда приходит урочный час, разрешается сжатыми, строгими строками. Великой суровостью дышит лик Балтрушайтиса. Это суровость северной природы. Редко, редко младенческая улыбка, как беглый луч скупого солнца, озаряет на миг его. Напрасно суетный читатель стал бы искать в его стихах красочных образов и цветистых слов. Стихи Балтрушайтиса — гравюра по дереву. В них только черные и белые пятна. В призрачном свете полярного дня нет красок, и только огромные формы, веская плоть земли давят душу. Никогда Балтрушайтис не украшает своего скудного рассказа пышными одеждами. В его кабинете пусто. Только стол рабочий и большое распятые. Стихи его похожи на голые стены древней молельни, где нет ни золотых риз икон, ни крытых пестрыми камнями статуй, где человек глаз на глаз ведет извечный спор с грозным Вседержителем. Читает стихи Балтрушайтис размеренно и глухо, не выдавая волнения, не возвышая и не понижая голоса, будто путник, повествующий о долгих скитаниях в пустыне. Немногим близки и внятны его стихи. Ведь мы ждем от поэта видений новых и меняющихся и требуем, чтобы он нас дивил, как причудливый цветник или как танец негритянки. «Балтрушайтис... Но ведь это так скучно», — еще сегодня сказала мне барышня, которая любит заменять стихами Гумилева невозможные в наши дни путешествия. Да, Балтрушайтис очень скучен и очень однообразен, но в этом его мощь. Есть на свете не только цветники Ривьеры и гавоты Рамо, но еще скучные пески пустыни и скучное завывание ветра в нескончаемую осен-

ною ночь. Прекрасны девственные леса, священное бездорожье, прекрасны тысячи тропинок, несхожих друг с другом, которые сквозят в зеленой чаще, уводя к неведомым прогалинам и таинственным озерам. Но так же прекрасна длинная прямая дорога, белая от пыли в июльский полдень, которую метят только скучные верстовые столбы. Балтрушайтис идет по ней, куда — не все ли равно? Надо идти — он не считает дней и потерь, он идет, и не выше ли всех пилигримов тот крестonosец, который, не видя ни миражей пустыни, ни золотых крестов Иерусалима, мерцающих впереди, — ничего, гордо несет через пески и дни тайной страстью выжженный на груди крест.

1919

Юргис Балтрушайтис

ЗАПОВЕДЬ СКОРБИ

Когда пред часом сердце наго
В кровавой смуте бытия,
Прими свой трудный миг, как благо,
Вечерняя душа моя.

Пусть в частых пытках поникая,
Сиротствует и плачет грудь,
Но служит тайне боль людская
И путь тревоги — Божий путь...

И лишь, творя свой долг средь тени,
Мы жизнью возвеличим мир
И вознесем его ступени
В ту высь, где вечен звездный пир...

И вещей трепет жизни новой,
Скорбя, лишь тот взростит в пыли,
Кто возлюбил венец терновый
И весь отрекся от земли...

ВЕРЮЮ

Знаю я в яви вселенной
Плач на рассветном пороге,
Путь человеческий в зное,
Длящийся ложно...

Знаю, как сердце земное
Хило во сне и в тревоге,
Немощно в радости тленной,
В скорби ничтожно...

Вижу я в смертной истоме
Годы заботы и крохи
Блага, блаженство и рядом
Горе у двери —

Юность с седеющим взглядом,
Старость с проклятьем во вздохе,
В нищем и княжеском доме
Те же потери...

Снится мне в жизни, однако,
Цвет человеческой доли.
Полдень души беспечальной
В мире и в споре —

Верю я в жребий венчальный,
В царствие часа без боли,
В посох, ведущий без мрака
Вечные зори...

Верую, верую, Боже,
В сумрак о звездах поющий,
Свет воскресенья сулящий
Чудом страданья...

Верую в молот дробящий,
В пламя и в меч создающий,
В жертву зиждительной дрожи,
В дар оправданья.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Текут, текут песчинки,
В угоду бытию,
Крестины и поминки
Вплетая в нить свою...

Упорен бег их серый,
Один, что свет, что мгла...
Судьба для горькой меры
Струю их пролила...

И в смене дня и ночи,
Скользя, не может нить
Ни сделать боль короче,
Ни сладкий миг продлить...

И каждый, кто со страхом,
С тоской на жизнь глядит,
Дрожа над зыбким прахом,
За убылью следит, —

Следит за нитью тонкой,
Тоской и страхом жив,
Над малою воронкой
Дыханье затаив!

НА УЛИЦЕ

Стою один на перекрестке,
Средь шума улиц городских,
Вникая праздно в пыль и блески,
В покой и важность лиц людских...

Какое хитрое сплетенье —
Без явной связи и межи —
И сна и горького смятенья,
Слепой правдивости и лжи.

Снуют наряды, перстни, бусы
И жадность уст, и алчность глаз,
Ханжи бродячие и трусы,
Тщета и глупость напоказ.

И видны, — видны сквозь румяна
Земного счастья кроха,
Печать корысти и обмана,
Клеймо позора и греха...

Ползет чудовищем стоногим,
Чей темный голод глух и нем,
Толпа, довольная немногим,
Неутоленная ничем...

И каждый носит в сердце сонном
Свободу, ставшую рабой,
Случайность, ставшую законом,
И жребий прихоти слепой...

И жуток свет во взглядах смелых,
И грозен всюду знак судьбы
На пальцах горько загрубелых,
На спинах, согнутых в горбы...

И всех равняет знаком сходства,
Приметой Божьего перста,
Одно великое сиротство,
Одна великая тщета.

СКАЗКА

У людской дороги, в темный прах и ил,
В жажде сева Вечный тайну заронил...
И, вскрываясь в яви, как светает мгла,
Острый листик травка к свету вознесла...

Вот и длились зори, дни и дни текли,
И тянулся стройно стебель от земли...
И на нем, как жертва, к солнцу был воздет
В час лазурной шири алый-алый цвет...

Так и разрешилось в пурпуре цветка
Все немотство праха, дальняя тоска...
И была лишь слава миру и весне —
Вот что скрыто Богом в маковом зерне.

Константин Димитриевич БАЛЬМОНТ

Помню ноябрьское туманное утро и длинные серые набережные Сены. Реял мелкий дождик, и тоскливо отсвечивали сизые стены похожих друг на друга домов. Прохожие, хмурые, окунув лица в воротники, ежась бежали на работу. Но у витрины какой-то лавчонки они останавливались и долго стояли, будто завороченные каким-то чудесным видением. За мутным слезящимся стеклом в маленькой клетке сидел попугай. Стеклянными глазами он глядел вдаль и время от времени величественно хлопал крыльями. Казалось нелепым его слишком яркое оперение: изумрудный хвост, лазурный хохолок, малиновые крылья. Стояли на ветру, а потом каждый уносил с собой в контору или в парламент, в магазин или в университет смутное, неизъяснимое волнение. Быть может, напоминал он о зеленых рощах Явы, о кровавом солнце, падающем в пески пустынь, о сапфирной епитрахили тропической ночи.

Не таким ли попугаем являлся Бальмонт в унылые кануны нашей эпохи? Он мнил себя нелепым, бесцельным, в своей бесцельности трижды необходимым. Я видел — в давние дни, — как в чопорном квартале Парижа — Пасси прохожие останавливались, завидев Бальмонта, и долго глядели ему вслед. Не знаю, за кого принимали его любопытные рантье, — за русского «grinсе», за испанского анархиста или просто за об-

манувшего бдительность сторожей сумасшедшего. Но их лица долго хранили след недоуменной тревоги, долго они не могли вернуться к прерванной мирной беседе о погоде или о политике в Марокко. А несколько лет спустя, в первую зиму революции, на улицах Москвы, покрытых корою льда, среди голодных угрюмых людей, осторожно, гуськом обходящих особенно скользкие места, я видел те же изумленные взоры и повернутые назад головы. Нужны были три года, пустынные и слепительные, когда крестный путь стал обычной проселочной дорогой (и наоборот), когда некий дикий Олимп сделался повседневной резиденцией любого обывателя, а олимпийцы либо переехали в музей, либо занялись пилой дров, будучи при этом непостижимо сходны с простыми смертными, — нужны были эти безумные годы, чтобы затмить пожаром материков давнее окно, где еще горит и томится заморская птица.

Время, время! Не тебе ли служит до последнего посмертного ямба поэт? Не под твоими ли, воспетыми им, колесами он гибнет? Легко осыпаются поздние розы, мгновениен век мотылька, и только поэту суждено жить с плодами, со славою, с полным собранием сочинений, с неистребимыми воспоминаниями.

Воистину трагична судьба Бальмонта. Глядя на него, я, — еще в который раз, — возмущаюсь необъяснимыми причудами Верховного Режиссера. Что это — «божественный абсурд» или просто непростительная рассеянность? Выкинуть резким пинком на сцену Средневековья бедного Франсуа Вильона, который в точности знал все лабиринты двадцатого века, и забыть о чудесном трувере, певце «златовейных», «огнекрылых», «угонченных» и других прекрасных дам. Пропустить и салоны Дианы де Пуатье, и навсегда потерянную возможность быть зарисованным Веласкесом, и даже скромный пунш среди невских харит в каморке

Языкова, чтобы бросить поэта испанцев, «опьяненных алой кровью», в век танков, конгрессов Интернационала и прочей тяжеловесной декорации, для которой ни Ронсар, ни Гонгора, ни Языков даже наименований не нашли бы.

Любите же в Бальмонте великолепии анахронизма. Когда насаждаются республики, чтите в нем короля. На его медном лице зеленые глаза. Он не ступает, не ходит даже, его птичьи ноги как будто не хотят касаться земли. Его голос похож то на клекот, то на щебет, и русское ухо тревожат непривычные, носовые «н» в любимых рифмах «влюбленный, опьяненный, полусонный»...

Как образцовый король, Бальмонт величествен, не леп и трогателен. Он порождает в сердцах преклонение, возмущение и жалость. В дни полуденного «Будем как Солнце» падали ниц, услышав его пронзительный голос. Но вот вчерашние рабы бунтуют и свергают властелина. Бальмонта ненавидят за то, что поклонялись ему, за то, что учиться у него нечему, а подражать ему нельзя. И дальше, — Бальмонт в «Песнях Мстителя» или в «Корниловских» стихах — политик, в «Жар-Птице» — филолог, Бальмонт — мистик, публицист, философ — бедный, бедный король!

Бальмонт объехал весь свет. Кажется, мировая поэзия не знала поэта, который столько времени провел на палубе парохода или у окна вагона. Но, переплыв все моря и пройдя все дороги, он ничего в мире не заметил, кроме своей души. Вот эта книга — Бальмонт в Египте, а эта — Бальмонт в Мексике. Бунтующие, вы хотите корить его за это? Преклонитесь лучше перед душой, которая так велика, что десятки лет ее исследует неутомимый путешественник, открывая все новые пустыни и новые океаны.

Бальмонт знает около тридцати языков. Легко изучил он десятки говоров и наречий. Но заговорите

с ним даже по-русски, невидящими глазами он посмотрит на вас, и душа, не рассеянная, нет, просто отсутствующая, ничего не ответит. Бальмонт понимает только один язык — бальмонтовский. В его перепевах Шелли и сказатель былин, девушка с островов Полинезии и Уитман говорят теми же словами.

Часто возмущаются, — сколько у Бальмонта плохих стихов. Показывают на полку с пухлыми томами, — какой? 20-й? 30-й? Есть поэты, тщательно шлифующие каждый алмаз своей короны. Но Бальмонт с королевской расточительностью кидает полной пригоршней ценные камни. Пусть среди них много стекляшек, но не горят ли верным светом «Горящие Здания» или «Будем как Солнце». Кто осудит этот великолепный жест, прекрасное мотовство?

Сейчас труднее всего понять и принять Бальмонта. Мы слишком далеки уж от него, чтобы признать его современность, и слишком близки, по-моему, чтобы постичь его «вечность». Вместе со многим другим мы преодолеваем Бальмонта. Мы все хорошо помним, что писарь из Царицына декламирует «Хочу упиться роскошным телом». Но легко забываем, что талант отнюдь не уничтожает безвкусыя и что иные строки Бальмонта, проступая сквозь туман годов, значатся в какой-нибудь хрестоматии XXI века.

Бальмонт страстно любил и любит Россию, любит, конечно, как это ему свойственно — своевольно, капризно, бурно. Заморский гость, навеки отравленный широтой ее степей, дыханием болот, молчанием снегов. О, какой это роковой и мучительный роман! Россия в бреду, в тоске, темная и взыскающая, не хочет открыть своего сердца нетерпеливому романтику. Тогда, как обманутый в ожиданиях влюбленный, он клянет, грозит, уверяет себя и всех, что излечился от страсти — «в это лето я Россию разлюбил», — чтобы потом снова у двери шептать ее незабываемые имена.

Отсюда великое одиночество Бальмонта, после тысяч и тысяч дружеских рук, сжимавших его неудержимую и неудержанную. Грозная буря выкинула его на этот парижский остров, где он чувствует себя Робинзоном, не видя Пятницы, но лишь злостных пирующих людоедов.

Любить Бальмонта живой, простой, человеческой любовью, так, как мы любим Блока или Ахматову, нельзя. Как осенние цветы, он ярок и пестр, в яркости своей неуютен, страшен и не то слишком зноен, не то смертельно холоден. Но, рассказывая детям о наших великих и суровых годах, мы скажем им и о том, кто, сам того не ведая, поджег много былых зданий и рыжим, злым костром окровавил небо угрюмых Канунов.

1919

Константин Бальмонт

* * *

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Море
И пышный цвет долин.
Я заключил миры в едином взоре,
Я властелин.

Я победил холодное забвенье,
Создав мечту мою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою.

Мою мечту страдания пробудили,
Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце
В предсмертный час.

* * *

Она отдалась без упрёка,
Она целовала без слов.
— Как темное море глубоко,
Как дышат края облаков!

Она не твердила: «Не надо»,
Обетов она не ждала.
— Как сладостно дышит прохлада,
Как тает вечерняя мгла!

Она не страшилась возмездья,
Она не боялась утрат.
— Как сказочно светят созвездья,
Как звезды бессмертно горят!

* * *

Я — изысканность русской медлительной речи,
Преодо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я — прозрачный ручей,
Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Драгоценные камни земли самобытной,
Переключки лесные зеленого мая,
Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.

БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ

Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора, —
Над зыбкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора, —
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко, далёко.
Во всем утомленье глухое, немое.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно,
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

* * *

Не собрал я этим летом Божьей жатвы,
Не писал благовествующих стихов,
Видел низость, суесловье, лживость клятвы,
Миллионы обезумевших рабов.

Не дышал я этим летом духом луга,
Ни единого не встретил я цветка,
Видел руку, что заносит брат на друга.
Знал, что радость хоть близка, но далека.

Не узнал я этим летом поцелуя,
Слышал только тот позорный поцелуй,
Что предатели предателям, ликуя,
Раздавали столько, сколько в море струй.

Этим летом — униженье нашей воли,
Этим летом — расточенье наших сил,
Этим летом — я один в пустынной доле,
Этим летом — я Россию разлюбил.

Александр Александрович БЛОК

Я никогда не видел Блока. Случайные рассказы о нем слились с образом смутным, но неотступным, созданным моей мечтой. Этот портрет — видение наивной девочки, которая над книгой думает, какие были у героя глаза, карие или голубые. Быть может, А. А. Блок совсем не похож на моего Блока. Но разве можно доказать, кто подлинный из двух? Я даже боялся бы увидеть того, кто живет в Петербурге, ибо роль девочки, познающей житейскую правду, — скверная роль.

Я вижу Блока не одержимым отроком, отравленным прикосновением неуловимых рук, который на улице оглядывается назад, вздрагивает при скрипе двери и долго глядит на конверт с незнакомым почерком, не в силах вскрыть таинственного письма. Я не различаю дней «Снежной маски», туманов и вуали, приподнятой уже, не «прекрасной», но дамы Елагина острова, и жалящей тоски. Предо мной встает Блок в его «Ночные часы». Пустой дом, хозяин замкнулся, крепко запер двери, чтобы больше не слышать суетных шагов. Большие слепые окна тупо глядят на белую ночь, на молочную, стеклянную реку. Блок один. Блок молчит. На спокойном, холодном лице — большие глаза, в которых ни ожидания, ни тоски, но только последняя усталость. Город спит. Зачем он бодрствует? Зачем внима-

ет ровному дыханию полуночного мира? Не на страже, не плакальщица над гробом. Человек в пустыне, который не в силах поднять веки (а у Блока должны быть очень тяжелые веки) и который устал считать сыплющиеся между пальцами дни и года, мелкие остывшие песчинки.

По великому недоразумению, Блока считают поэтом религиозным. За твердую землю, на которой можно дом уютный построить, принимают легкий покров юношеского сна, наброшенный на черную бездну небытия. Ужас «ничто» Блок познал сполна, «ничто» даже без хвоста датской собаки. Но какие-то чудесные лучи исходят из его пустующих нежилых глаз. Руки обладают таинственной силой прикасаясь, рана, убивая — ласкать. Стихи не итог с нолями, не протокол вскрытия могилы, в которой нашли невоскресшего бога, но песни сладостные и грустные, с жестоким «нет», звучащим более примиряюще, чем тысячи «да».

Столько у него нежности, столько презираемой в наши дни, благословенной жалости.

Величайшим явлением в российской словесности пребудет поэма Блока «Двенадцать». Не потому, что она преображает революцию, и не потому, что она лучше других его стихов. Нет, останется жест самоубийцы, благославляющего страшных безлюбых людей, жест отчаяния и жажды веры во что бы то ни стало. Легко было одним проклясть, другим благословить. Но как прекрасен этот мудрый римлянин, спустившийся в убогие катакомбы для того, чтобы гимнами Митры или Диониса прославить сурового, чужого, почти презренного Бога! Нет, это не гимн победителям, как наивно решили «Скифы», не «кредо» славянофила, согласно Булгакову, не обличенья революции (переставить все наоборот, — узнаете Волошина?). Это не доводы, не идеи, не молитвы, но исполненный предель-

ной нежности вопль последнего поэта, в осеннюю ночь бросившегося под тяжелые копыта разведчиков иного века, быть может, иной планеты.

Хорошо, что Блок пишет плохие статьи и не умеет вести интеллигентных бесед. Великому поэту надлежит быть косноязычным. Аароны это потом, это честные популяризаторы, строчащие комментарии к «Двенадцати» в двенадцати толстых журналах. Блок не умеет писать рецензий, ибо его рука привыкла рассекать огнемечущий камень скрижалей.

Легко объяснить достоинства красочного образа Державина или блистающего афоризма Тютчева. Но расскажите, почему вас не перестанут волновать простые, почти убогие строки: «Я помню чудное мгновение» или «Мои хладеющие руки тебя пытались удержать».

Когда читаешь стихи Блока, порой дивишься: это или очень хорошо, или ничто. Простым сочетаньем простых слов ворожит он, истинный маг, которому не нужно ни арабских выкладок, ни пышных мантий, ни сонных трав.

У нас есть прекрасные поэты, и гордиться можем мы многими именами. На пышный бал мы пойдем с Бальмонтом, на ученый диспут — с Вячеславом Ивановым, на ведьмовский шабаш — с Сологубом. С Блоком мы никуда не пойдем, мы оставим его у себя дома, маленьким образком повесим над изголовьем. Ибо мы им не гордимся, не ценим его, но любим, его стихи читаем не при всех, а вечером, прикрыв двери, как письма возлюбленной; имя его произносим сладким шепотом. Пушкин был первой любовью России, после него она много любила, но Блока она познала в страшные роковые дни, в великой огневице, когда любить не могла, познала и полюбила.

1919

Александр Блок

РОССИЯ

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика.

Содержание

ПОРТРЕТЫ РУССКИХ ПОЭТОВ

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

«Настоящую нежность не спутаешь...»	9
«Можжевельника запах сладкий...»	9
«Есть в близости людей заветная черта...»	10
«Тяжела ты, любовная память!..»	10
«Чем хуже этот век предшествовавших?..»	11

ЮРГИС КАЗИМИРОВИЧ БАЛТРУШАЙТИС

Заповедь скорби	14
Верую	15
Песочные часы	16
На улице	17
Сказка	18

КОНСТАНТИН ДИМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...»	23
«Она отдалась без упрека...»	24
«Я — изысканность русской медлительной речи...»	24
Безглагольность	25
«Не собрал я этим летом Божьей жатвы...»	26

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

Россия	30
«О доблестях, о подвигах, о славе...»	31
«Всё на земле умрет — и мать, и младость...»	31
«Рожденные в года глухие...»	32
Скифы	33

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ

Вечерний прилив	39
Я	40
Поэту	41
«Веселый зов весенней зелени...»	42
Третья осень	43

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

«Довольно, не жди, не надейся...»	47
«Золотому блеску верил...»	48
Родине	49
«Есть в лете что-то роковое, злое...»	50
«Рыдай, буревая стихия...»	50

МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛОШИН

«Глубь земли... Источенные крипты...»	54
«Склоняясь ниц, оваян ночи синью...»	55
«Замер дух — стыдливый и суровый...»	56
«В эти дни великих шумов ратных...»	56
Видение Иезекииля	57

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

«Край родной, поля, как святцы...»	63
«Буду петь, буду петь, буду петь...»	64
Песнь о собаке	65
«Я последний поэт деревни...»	66
Отрывок (Из «Сорокоуста»)	66

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

Погост	71
Гимны Эросу	71
Зимние сонеты	73

ОСИП ЭМИЛИЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ

«Образ твой, мучительный и зыбкий...»	77
«Я не слышал рассказов Оссиана...»	78
«Имею тело, что мне делать с ним...»	78
Tristia	79
Сумерки Свободы	80

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ

Отрывок из «Войны и Мира»	85
Пролог к «Мистерии-Буфф»	88
Приказ по армии искусства	89
Наш марш	91

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

«Не как люди, не еженедельно...»	95
Памяти демона	95
Сложь весла	96
Образец	96
Из суеверья	98

ФЕДОР СОЛОГУБ

Простая песенка	102
Из цикла «Личины переживаний»	103
Измотал я безумное тело	104
«И это небо голубое...»	105
«Я испытал превратности судеб...»	106

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА

«Настанет день — печальный, — говорят...»	110
«Идешь, на меня похожий...»	111
«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..»	112
«Уже богов — не те уже щедроты...»	113
«Пустоты отроческих глаз! Провалы...»	114

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

Рецензии 1911–1922 годов

М. Кузмин («Сети»... «Куранты любви»...)	117
Сергей Есенин («Трерядница». «Исповедь хулигана»...)	121
Сергей Есенин («Пугачев»...)	124
Ирина Одоевцева («Двор чудес»...). Елизавета Полонская («Знаменья»...)	125
Марина Цветаева («Разлука»... «Стихи к Блоку»...)	128
Осип Мандельштам («Tristia»...)	130
Борис Пастернак («Сестра моя Жизнь»...)	133

Статьи и заметки 1913–1926 годов

Заметки о русской поэзии	137
«Интеллигенция и революция» (по поводу статьи А. Блока)	142
Большевики в поэзии	148
Четыре	152
Стилистическая ошибка	156
Карл Маркс в Туле	162
На тонущем корабле	167
О праведниках	176
О поэзии (Случайные записи)	180
Искусство и современность	183
Звездная буря и фешенебельные гостиные	192
Au-dessus de la mêlée	197
О некоторых признаках расцвета российской поэзии	202
Письмо в редакцию	212
Русская поэзия	216
Романтизм наших дней	223
Смерть Есенина	235

Статьи, выступления, отзывы 1936–1967 годов

Традиции Маяковского	240
О поэте Гудзенко	251
Письмо поэту (С. Щипачеву)	254
О стихах Бориса Слуцкого	256
Поэзия Марины Цветаевой	266
⟨Вступительная статья к публикации стихотворений О. Мандельштама⟩	277